



«...ПУСТЬ ВСЁ ЭТО ДЛИТСЯ И ДЛИТСЯ!»

О поэзии Николая Рубцова

Прошло много лет с ночи смерти Николая Рубцова. Он и появился, и исчез внезапно – «как незаконная комета». Творчество его получило признание при жизни, но признание одностороннее, неадекватное содержанию и пафосу его. Одни видели в Рубцове трубадура неославянофильства, другие – чистокровного «деревенщика», есенинскую «косточку», третьи – неисправимого иррационалиста. Почти все – вольно или невольно – слишком «идеологизировали» его творчество, отношение к поэзии, позицию. Теперь, когда путь его завершён и полемические выводы не заслоняют главной сути судьбы, становится очевидным, что Николай Рубцов был прежде всего *поэтом*, то есть средоточием мыслей и чувств современников, их голосом, обращённым в грядущее, их памятью, странствующей «по холмам миновавших времён», их совестью, болью и страстью.

Замечательно, что он успел стать «органом... сокровенной думы всего общества»¹, прожив в литературе крайне короткую жизнь – шесть лет. Замечательно, что его «медлительная лира» звучит всё слышнее, стряхивая с себя поспешные ярлыки, заглушая предвзятые мнения, увлекая новых слушателей и собеседников. Посмертное восхождение Рубцова в читательских сердцах свидетельствует о том, что поэзия его существенно больше, чем простой слепок преходящих пристрастий и иллюстрация к литературному течению или идеологической конструкции.

Что же сделал в литературе, в русской поэзии Рубцов, чем привлёк и удержал читателя? Словом, чем же хороша его лира? Постараемся понять это, взглядевшись в художественный мир, созданный автором «Звезды полей», и сопоставив его с творчеством крупных русских поэтов. Придётся много цитировать и «отвлекаться», но в этом окружении

¹ Слова Белинского о предназначении поэта.

самобытность лирики Рубцова проявится, может быть, особенно убедительно.

Первая его книга вышла в 1965 г., когда уже несколько утихли «громокипящие» голоса запевал предшествующего десятилетия. В недрах того же поколения вызрела потребность в раздумье, свободном от лозунговой категоричности, она а р у ж и л а с ь необходимость «остановиться, оглянуться», чтобы обрести почву для «самостоянья», для общения с миром на более бережной, ненасильственной основе. В значительной мере поэзия Рубцова представляет собой ответ на это требование времени.



Н. Рубцов

Все, кто писал о Рубцове, подчёркивали, что тема Родины, России – всеобъемлющая в его творчестве. Хотелось бы отметить неслучайную характерность её «окраски», а для этого обратимся к опыту классиков.

В 1828 г. Пушкин обеспокоенно писал: «Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают со времён кн. Потёмкина... со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке». Потом Лермонтов скажет о «странной», рассудку неподвластной любви к «дрожущим огням печальных деревень» и простодушному веселью сельских праздников, полемически подчеркнув приязнь к официально не поощряемым приметам.



Тютчев не однажды с горечью и даже досадой писал о севере, который прямо назван «сновиденьем безобразным», о «тощей» природе, истошающей и душу человека:

*Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья -
Жизнь отошла – и, покорясь судьбе,
В каком-то забытии изнеможенья
Здесь человек лишь снится сам себе...
(«На возвратном пути»)*

Однако, размышляя о судьбах России, об историческом призвании народа, Тютчев заметил, что в «скудости», «наготе смиренной» есть и тайна, и сила. Христианский идеал кротости, чистоты, духовного просветления обретал зримое обличье.

Сложным чувством Родины обладал Александр Блок. «Бытия возвратное движенье» принимает у него форму историко-философских раздумий и фантазий, но и чувством непосредственной – непростой, противоречивой – любви он не обделён:

*Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю!..
(«Осенняя воля»)*

«Вольному сердцу на что твоя тьма!..» – словно опомнившись, восклицает Блок, но снова безоглядно отдаётся обожанью:

*Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слёзы первые любви!..
(«Россия»)*

В иступлённой нежности к «отчим полям» Есенина, напротив, нет и тени критицизма, сомнения, анализа. Он, как благодатью, одарён любовью к незащитной красоте земли. И чем наступательнее становилась неумолимая новь, тем горячее и мучительнее – нежность к уходящему, обречённому..

В Рубцове слились эти непохожие, но в главном созвучные голоса. В его любви к Родине – любви тоже непобедимой («сильнее всякой воли») – сплавлены память об историческом прошлом России и благоговение перед её стыдливо-сокровенной красотой:

*За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погоды и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот из у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
(«Видения на холме»)*

В этой любви – сострадание, жалость, желание защитить «покой и святость» отчих мест, но и сыновняя гордость, и светлая радость «самой жгучей связи» с каждой пядью родимой земли, «с каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть...» Эта любовь – жизненная опора поэта, «отрадное мечтанье», символ его веры.

Рубцовым создан и неповторимый образ *малой* родины – Вологодской стороны. «Дремотные леса» и усыпанные клюквой болота, деревни на холмах и немногословные сердечные люди, пенье саней в лунную ночь и «ромашковый запах ночлега», «грустные, грустные» сентябрьские птицы и молчаливые церкви «на крутизне береговой» – всё это «родимая земля», верность которой – первейшая заповедь поэта.

Здесь прошло детство, пролетели лучшие годы вольной молодости, здесь похоронена мать, образ которой брезжит в его памяти, как колыбельная в Лермонтове...

В родной Николе, как нигде, ощущал Рубцов прилив сил, веру в мудрость и доброту жизни. Сюда спешил он душою, памятью-птицей, сюда возвращался после долгих странствий:

*За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем...
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!
Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..
(«Привет, Россия...»)*

Мучительное подчас, но всегда отрадное чувство кровного родства озаряет всю лирику Рубцова, вспыхивая пленительными мимолётностями или интонацией благодаренья:



*Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сеньях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!..*
(«Сентябрь»)

Редкостное состояние *элегической радости* овладевает им только на родине. В словах старого пастуха Рубцов услышал формулу сокровенного патриотизма:

*... полюби и жалей
И помни
хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей...*
(«Жар-птица»)

Этот завет по-своему вторит мысли Толстого о том, что, вместо любви к человечеству, не худо было бы, по крайней мере, не обижать ближнего. «Глобальный» размах любви дезориентирует душу, превращая и живых соседей, и родную землю в абстракцию, которая ни в какой сердечности не нуждается.

*За старинный плеск её паромный,
За её пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага...*
(«На вокзале»)

Это не краткий порыв, а «сквозное» состояние души Рубцова.

Отсюда и полемика с урбанизированным укладом новейшего времени. Он не первооткрыватель. Город издавна настораживал поэтов и философов печальной перспективой разобщённости людей, отрыва от природы, бездуховности. Эти опасения не чужды лирикам XIX века, а в поэзии Есенина обрели остро драматическое, даже трагическое звучание: «Как в смирительную рубашку, мы природу берём в бетон».

Твардовский не разделял неистовой есенинской любви к «деревянной Руси», но не прятал и своей преданности «памяти нежной ребяческих лет». Никогда не противопоставляя село городу, он тем не менее со вздохом спрашивал:

*Земля родная, что же случилось,
Какая странная судьба:
Не только юность, но и старость
Туда же, в город, на хлеба,
Туда на отдых норовила
Вдали от дедовских могил...
(«На новостройках в эти годы...»)*

Беспокойство о судьбе сегодняшней, а значит, и завтрашней деревни, стремление во всей полноте и «живописности» раскрыть русский национальный характер, прихотливо переплетённый с современностью, забота о сохранении духовного потенциала народа – отличительные черты и так называемой «деревенской» прозы. Именно «деревенщики» продемонстрировали объёмное, в купели истории омытое чувство родины и внимательный интерес к внутреннему миру простого человека.

Пристально и тревожно всматривается Рубцов в лицо старой крестьянки, к которой забрёл на ночлег (стихотворение «Русский огонёк»). Случайная встреча окунула поэта в бессрочную народную память о минувшей войне, в живую её боль. Однако ему открылся не только «сиротский смысл семейных фотографий», но и душевная щедрость этой одинокой женщины. Это о таких людях Пушкин писал, что «они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбой».

Нравственных потерь прежде всего опасаются поэты. Но деревня – это ещё и природа, которая обнимает человека, смягчает его нрав, радует взор и сердце.

*Когда заря, светясь по сосняку,
Горит, горит, и лес уже не дремлет,
И тени сосен падают в реку,
И свет бежит по улицам деревни,
Когда, смеясь, на дворике глухом
Встречают солнце взрослые и дети,
Воспрянув духом, выбегу на холм
И всё увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг – везде по ним тоскую.
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, дружину...
(«Утро»)*



У этой красоты – власть и права первородства, нерукотворности. Она обладает не сухими достоинствами абсолюта, а одухотворена человеком, претворена в бесценность его влюблённым сердцем – иначе что значат эти «деревья, избы, лошадь на мосту»...

Рубцов знает, что подобную привязанность могут вызывать и «холмы, покрытые асфальтом», то есть город, – ведь человек вкладывает часть души во всё, что делает и чем живёт. «Грани меж городом и селом» не дают ему покоя. Он называет свой ропот бесполезным и почти просит за

него прощенья, но убеждён, что именно «деревушка» – «мать России целой», наша прародина, колыбелька, исторический исток.

Автору «Видений на холме» глубоко свойственно ощущение себя внутри огромной истории-вечности. Ему необходимо знать, вспоминать, воскрешать то, что «поглотил столетий тёмный зев».



Н. Рубцов на поэтическом семинаре

*Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И всё ж я слышу с перевала,
Как ветит здесь, чем Русь жила...*
(«По вечерам»)



Это не голословное заявление. Воображение уносит поэта во времена, когда топтал русскую землю ненавистный «тупой башмак скуластого Батыя», или дарит ему праздники «с колоколами и сладким хлебом». Он идёт по старой дороге, «перекликаясь с теми, кто прошёл», – а шлито пилигримы да острожники, – или бродит по Гуляевской горке, «где веселились русские князья»...

Не молчит о былом и природа Рубцова.

*...Катунь, Катунь – свирепая река!
Поёт она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!
И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И чёрный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...
(«Шумит Катунь»)*

Шум падающих с берёз листьев ведёт Рубцова по болевым точкам памяти: «такая же берёза» осеняет могилу матери, «такой же листопад» шумел, «как улей», когда погиб на войне отец.

Живая боль и память о бедствиях родной земли - давних и недавних - слились в умоляющем восклицании:

Россия, Русь! Храни себя, храни!..

Мысль Рубцова питается импульсами: «Всё очнётся в памяти *невольно*». У него нет стройной концепции прошлого, но любит и чтит он «достославную старину» – уже потому, что там – начало всех начал, а корнями Рубцов очень дорожит. Кроме того, старина символизирует для него полноту бытия, и красоту, и поэзию.

*Мелькнёт покоя сельского страница,
И вместе с чувством древности земли
Такая радость на душе струится,
Как будто вновь поёт на поле жница
И дни рекой зеркальной потекли...
(«Поэзия»)*

Не с полотна ли Григория Сороки сошёл этот насквозь просвеченный, умиротворённо-радостный пейзаж? И пусть время пасторалей прошло, но обаяние, усиленное давностью и фактическим исчезновением,



непобедимо. Досадные стороны «древности» начисто «забываются», и она встаёт в воображении светлой, как воспоминание: «Что пройдёт, то будет мило».

Это характерно для мировосприятия Рубцова вообще. По отношению к «заветным преданьям» особенно важно иметь это в виду, иначе неизбежны упреки в антиисторизме, неуместной идилличности, ещё более неуместной идеализации прошлого и прочих «смертных грехах». Но Рубцов не ретроград. Рубцов *поэт*. Ретроспекции его эмоциональны, а сердцу в самом деле не прикажешь. В этой незаданности и откровенности чувства есть и обаяние, и правота искренности, и цельность.

Опрометчиво считать большого поэта отставшим от времени. Разумнее понять причины его тревоги. Рубцов не конструировал представлений о сущности и смысле мира, а старался «подумать о жизни всерьёз», отделить первостепенное от случайного, истинное от ложного и говорил о своих колебаниях и убеждениях доверчиво и бесстрашно. Ведь в полемике с веком он озабочен не внешними приметам (он не лубочных дел мастер), а духовным и этическим климатом времени. Рубцов опасался суеты, мельтешенья, судорожной бессодержательной спешки, которые могут целиком подчинить человека, не оставив в душе места для высокого и вечного. Он чурался иссушающей рассудочности, помпезности, обывательского процветания:

*Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...
(«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»)*

Его удручает снобизм всезнайства, высокомерное пренебрежение «красотой былых времён». Она для Рубцова не исчезла бесследно, а живой водой влилась в современность. Его эстетизм – нравственного наполнения: поэт отказывается быть Иваном, не помнящим родства. Национальные святыни и заросший ромашками погост равно повергают его почти в экстаз:

*И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки умирая...
(«Над вечным покоем»)*

Неизвестная деревня, «где узрела душа Ферапонта что-то Божье в земной красоте», стала национальной святыней, и не для одного Рубцова, – только ему это раньше открылось.

В его поклонении старине есть упорство принципиальности, которую следует уважать. Тем более, что Рубцов не был огульным отрицателем нови, не отворачивался, а внимательно, вдумчиво всматривался в «плодоносное время краткое» и рад был всему светлому и обнадёживающему.

Главной надеждой была душа – тоже, конечно, старинное достояние человека. Это она, «как лист, звенит, перекликаясь со всей звенящей солнечной листвой». Это она «близких всех не позабудет». Это она хранит и связует прошлое и настоящее. И «лётся в душу свет небес». И чистотой души, как самым дорогим, что у него есть, доверительно клянётся поэт.

В поэзии Рубцова душа не только замещает лирического героя, но представляет всего человека: душой он чувствует, душой мыслит. В «Философских стихах» слово «душа» звучит восемь раз и, конечно, воспринимается как господствующий образ.

Понимание души как объединяющей людей сущности мира роднит Рубцова с Жуковским. Проблематика его творчества: судьба, бессмертие, добро и зло, истина и красота – принадлежит сфере интеллектуальной, но осмысляется эмоционально, воодушевлённо. Вечные темы он осваивает как актуальные, что близко Рубцову. Разделённых полутора столетиями поэтов сближает и желание сказать о невыразимом, передать «сей внеземный одной душою обворожающего глас», в музыке стиха воплотить гармонию мира:

*...Невыразимое подвластно ль выраженью?..
 Когда душа смятенная полна
 Пророчеством великого виденья
 И в беспредельное унесена, –
 Спирается в груди болезненное чувство,
 Хотим прекрасное в полёте удержать,
 Ненаречённому хотим название дать –
 И обессиленно безмолвствует искусство?
 («Невыразимое»)*

«Смиренная муза» уравновешенного Жуковского созвучна «грустной лире» спокойного Рубцова. Неслучайно образ «очарованной тишины», которая обнимает и исцеляет страдающую душу, характерен для обоих. Их пиетет перед всеотзывчивой и всепонимающей душой говорит об уважении к сокровенной жизни человека, к тончайшим проявлениям его психики. Это талант подлинного гуманизма, уже сам по себе бесценный Душа и природа – главный дуэт в поэзии Рубцова. Он мастерски рисует картины, исполненные свежести и экспрессии:



*... Завеса мутная дождя
Заволокла лесные дали.
Кромсая мрак и бороздя,
На землю молнии слетали!
И туча шла, гора горой!
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под горой
Молчала набожно и свято...
(«Во время грозы»)*

Но и Рубцов мог бы сказать: «Нет, не пейзаж влечёт меня». Обнаружить и запечатлеть связи человека и природы – непреходящая забота лирики.

Жуковский с трогательным простодушием писал:

*Как бы сокрытая под юных дров корой,
С сей очарованной мешаясь тишиною,
Душа незримая подьмлет голос свой
С моей беседовать душою...
(«Славянка»)*

Тютчев увидел в природе ещё и грандиозную параллель жизни человека и человечества. Его поэзия полна прозрений, догадок, «вымыслов чудесных», вырастающих из вполне будничных впечатлений. Привычная смена дня и ночи образно воплотила двоемирие: ночь срывает с бытия «покров... златотканый» и, обнажая бездны, оставляет человека наедине с ними.

И нет извне опоры, ни предела...

Даже иллюзорная гармония недоступна, и «в чуждом, неразгаданном, ночном» человек узнаёт «наследье роковое» – «древний хаос», с которым не может ни совладать, ни слиться.

Однако ночь – это и «миротворный гений», время отдыха от нестерпимого блеска дня. Ночь – это «мгла самозабвенья», которого жаждет Тютчев. Человека гнетёт «страх кончины неизбежной», а природа бесмертна. Здесь – исток мучительного разлада:

*Душа не то поёт, что море,
И роищет мыслящий тростник...
(«Певучесть есть в морских волнах...»)*

Рубцова не тревожит личное бессмертие, во всяком случае, он не пишет об этом. Он оплакивает увядание цветов, не осознающих своей участи. Он верит в «певучее» согласие души и космоса и вживается в ночь, охваченный трепетом тайны:

*... как сторожевые,
На эти грозные леса
В упор глядят глаза живые,
Мои полночные глаза...*
(«Зимовье на хуторе»)

Тютчевская ночь, которая, «как зверь стокий, глядит из каждого куста», и «полночные глаза» Рубцова встречаются, узнают себя в глазах друг друга. И стихи их тоже будто переглядываются – «жутко так, не до конца...».

*... Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, –
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены...*
(«Как океан объемлет шар земной...»)

Как часто у Тютчева, звёздное небо, отражающееся в воде, достигает глубины символа – символа «пылающей бездны» снов в данном случае. Гипербола передаёт необычное переживание, напряжённость и тревогу внутренней жизни «ночного» человека. Душа смотрит в «бездну» и узнаёт себя.

Рубцов же отмечает разлитое в природе умиротворение:

*... моей душе
Земная веет святость
И полная река
Несёт небесный свет...*
(«В глуши»)

Небеса и река сливаются, тонут друг в друге, и человек осенён этим нежным спокойным сиянием.

«Как бы эфирною струёю по жилам небо протекло!..» – это ведомо и Рубцову. Правда, у Тютчева оно означает желанный, но болезненно-краткий миг освобождения от земных уз, от «праха», а человек и небеса Рубцова братски уравновешены. Он избегает заглядывать в бездны, с надеждой обращая взор ввысь.



*Уже деревня вся в тени.
В тени сады её и крыши.
Но ты взгляни чуть-чуть повыше –
Как ярко там горят огни!..*

Это «чуть-чуть» знаменательно: свет – близко.

Обращение к вечным звёздам характерно для русской лирики, и Рубцов наследует веру в их неслучайное, вещее сияние: пока горят звёзды, «ты мне тоску не пророчь», говорит он, а мог бы, наверное, и повторить вслед за Фетом:

*... И всё, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный,
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолётный.
И этих грёз в мировом дуновенье
Как дым несусь я и таю неволью,
И в этом прозреньё, и в этом забвеньё.
Легко мне жить и дышать мне не больно.
(«Измучен жизнью, коварством надежды...»)*

Рубцовский человек так «жгуче» и «смертно», так неразрывно слит с природой, что каждое движение, каждый «жест» отзываются страхом или радостью, успокоением или болью. В непомерной гордыне он не мнит себя «сувереном», безначальным индивидом: если солнце погаснет, человек перестанет существовать. Пульс природной жизни бьётся и в человеке. Даже привычный ежевечерний закат тревожит. И тут же он просит у ночи помощи и защиты: «Дай под твоим я погребью крылом»...

«Я чуток как поэт, Бессилен как философ», – признаётся он.

По «музыкальности» отклика Рубцов ближе к Фету. Но стихотворение Фета – искра от мгновенного касания души человека и природы. Он поражает внезапностью взгляда, свежестью восприятия, колыбельной или, напротив, взрывной интонацией.

*Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя также пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом...
(«Моего тот безумства желал...»)*

Фета обуревают восторг, «сердца звучный пыл», исступление счастья. Это, образно говоря, «Моцарт русской лирики».

Песнь Рубцова тише, приглушённое, грустнее. Вспоминаешь Шопена, Грига, Рахманинова. Или Василия Калинникова.

*... Летят журавли высоко
Под куполом светлых небес,
И лодка, шурша осокой,
Плывёт по каналу в лес.
И холодно так, и чисто,
И светлый канал волнист,
И с дерева с лёгким свистом
Слетает прохладный лист.
И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая
Под куполом светлых небес...
(«У сгнившей лесной избушки...»)*

Стихи звучат, как импровизация, возникли будто по наитию. Но и здесь Рубцов клонит к тому, что человек не одинок, он внутри природы. Он следит жадно за её «настроением» и спешит откликнуться, воссоединиться. В этом – и «надоба», как сказала бы Цветаева, и благо. Рубцов почти не пишет дробных картин, не вникает в частности: это уже взгляд со стороны, отторжение, отчуждение. «В обнимку с ветром иду по скверу», – сказано неспроста.

Стихия ветра, метели привлекала поэтов, особенно русских. Тютчева ветер искушает возможностью «с беспредельным... слиться», но оставляет жажду неутолённой. Растревожив, он бессилён утешить человека. Обращение поэта к ветру похоже на заклинание:

*О, страшных песен сих не пой
Про дикий хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!..
(«О чём ты воешь, ветр ночной!..»)*

Для Блока ветер – сама звучащая стихия, тоже тревожная и тревожащая. Это голос предсказаний и предчувствий, но без угрозы, а то и благовествующий.

Эмоции Есенина – непосредственнее, «проще», но облик поэта и стихи его насыщены ветром, который обладает иногда почти телесной экспрессией проявлений. Есенин одним из первых сравнил не ветер с собой, а себя – с ветром.



Рубцову близка эта перемена уподоблений, но о ветре он пишет очень по-разному. Здесь и простосердечное, неудержимое, как вдох, признание: «Люблю ветер. Больше всего на свете...», и пронзительный образ ночного ветра, слившегося с памятью о матери, словно прилетевшего с её далёкой, засыпанной снегом могилы. Ветер всхлипывает, как дитя, а метель кричит, как живая; ветер замечает следы и будит воспоминания, гонит из дому и торопит под родную крышу...

*О ветер, ветер! Как стонет в уши!
Как выражает живую душу!
Что сам не можешь, то может ветер
Сказать о жизни на целом свете.
Спасибо, ветер! Твой слышу стон.
Как облегчает, как мучит он!..
(«По дороге из дома»)*

Человек и стихия сливаются, звучат заодно, взаимно выражая друг друга. Именно ветер делает возможным диалог, что для мироощущения Рубцова особенно важно: он то и дело пытается внушить природе, что она не забыта, не одинока, а услышана, понята. По Рубцову, безглагольность и есть сиротство: улетели журавли, и «без них сиротеет душа и природа»: *их некому выразить*. Отсутствие отклика усиливает, обостряет одиночество. Крики птиц – тоже голос, обращённый к человеку. «Я слышу, слышу!» – говорит поэт ветру, но и журавлям, коростелю, безвестной болотной птице...

Остроте чувственного восприятия полевой России поэты учились у Есенина. Столько красок, полутонов, движения до него никто не замечал. Но природа у него нередко избыточно декоративна. И гипертрофия образности ведёт к внешнему, замкнутому впечатлению. Это общая закономерность. Метафоричность неминуемо требует отстранения, отчуждённости. Часто метафора передаёт не «самочувствие» природы, а лишь впечатление от увиденного. Поэт насыщает стихию человеческими страстями, *собой*, а природа сама полна жизни и смысла.

*Целый день осыпаются с клёнов
Силуэты багровых сердец...*

Яркие строки Заболоцкого, но в прямом сравнении чувство неотвратимо ограничивается, сплющивается. Метафора однозначна, однонаправленна и тем поневоле обеднена. Сравнимое, то есть главный предмет внимания и речи, заслоняется нередко броским уподоблением, уводя от сущности.

*...И с дерева с лёгким свистом
Слетает прохладный лист... –*

пишет Рубцов, и поэзии в этих неметафоричных строках едва ли меньше, а ощущение осени, пожалуй, пронзительнее...

«Осень – рыжая кобыла – чешет гриву» – это Есенин-имажинист. (Замечаете, как эта самая «рыжая кобыла» вытеснила, «перевесила» осень?..) У Рубцова невозможно вычленить равноценной по броскости картинки. Он занят иным – не цветовым эффектом, не «сопряжением далековатых понятий», а сопереживанием.

*...Когда в снях опять простились мы,
Я в первый раз так явственно услышал,
Как о суровой близости зимы
Тяжёлый ливень жаловался крышам.
Прошла пора, когда в зелёный луг
Я отворял узорное оконце –
И все лучи, как сотни добрых рук,
Мне по утрам протягивало солнце...
(«А между прочим, осень на дворе...»)*

Но откуда это чувство невосполнимой утраты, непоправимого? Или жалоба стынущего ливня совпала с предчувствием, о котором в «Элегии» сказано с резкой безнадежностью:

*...Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне.*

Однако Рубцов редко отдаётся беспросветному унынию. Он больше склонен улавливать музыку космоса и насыщать ею душу. Ни о каком «преобразовании природы» не может быть и речи. Заболоцкий настраивает природу «на мерный звук разумного труда», человека видит «дирижёром», а Рубцову дороже вновь и вновь обнаруживать единство человека и вселенной, их развитие от одного «корня», взаимопроникновение, выраженное через принадлежность к «жизни божеско-всемирной».

Не логически достигает он этого, а как *поэт*: сам испытывая это слияние, отдавая ему безоглядно. В эти редчайшие минуты человека охватывает чувство полноты бытия, одухотворённой безмятежности и милосердия вокруг. «Тогда смиряется души моей тревога», – писал Лермонтов. И Рубцов не однажды облакает в слова это трудно выразимое состояние:



*«Чудный месяц плывёт над рекою», –
Где-то голос поёт молодой.
И над родиной, полной покоя,
Опускается сон золотой!
...Неспокойные тени умерших
Не встают, не подходят ко мне.
И, тоскуя всё меньше и меньше,
Словно бог, я хожу в тишине.
И откуда берётся такое,
Что на ветках мерцает роса,
И над родиной, полной покоя,
Так светлы по ночам небеса!..*

Речь не об идиллии, от которой Рубцов очень далёк из-за напряжённости, драматизма мирочувствия, но о сочувствии. В дружбе смертного человека с бессмертной природой проявляется самозабвенное бескорыстие его, мудрое приятие мироустройства. От печали это не избавляет, но и она светла, потому что в преодолении страха и отчаяния всегда есть свет.

Светлое, мужественное отношение к жизни – вопреки ударам её и неудачам, отказ от зависти вековечной природе роднит Рубцова с Пушкиным и – поздним Твардовским. Читая стихотворение о девочке, весело играющей на кладбище, сразу вспоминаешь «Брожу ли я...». Это словно персонификация играющей «у гробового входа» младой жизни в окружении «пышной, радостной» природы, которая у Рубцова не «равнодушная», но сама порой «звенит, смеётся, как младенец». А, обращаясь к жизни, наполненной голосами друзей, и шумом сосен, и светом звёзд, он мог бы сказать вместе с Твардовским:

*И всё, что мне тогда вещала,
Что обещала мне она,
Я слышать вновь готов сначала,
Как песню, даром что грустна.
(«Мне сладок был тот шум сонливый...»)*

Благодарность жизни, догадка о её прекрасной сущности подвигает человека на поиск и сотворение красоты, гармонии. Природа продолжает оставаться их мерилем и образцом. Поэзия Рубцова настоятельно возвращает к этому старинному убеждению. У него почти нет стихов, где не звучал бы «младенческий говор природы», чуткость к которому может показаться «инфантильной» в эпоху НТР, но тем более красноречива: здесь нет произвола или умысла, а лишь угадана потаённая мечта современного человека:

*...Я так люблю осенний лес,
 Над ним – сияние небес,
 Что я хотел бы превратиться
 Или в багряный тихий лист
 Иль в дождевой весёлый свист,
 Но, превратившись, возродиться
 И возвратиться в отчий дом,
 Чтобы однажды в доме том
 Перед дороною большою
 Сказать: – Я был в лесу листом!
 Сказать: – Я был в лесу дождём!
 Поверьте мне: я чист душою...
 («В осеннем лесу»)*

Природа в стихах Рубцова, естественно, не заслоняет человека: она ведь прошла сквозь его любящее сердце. В общении с деревом и дождём раскрывается сам человек, душа его, даже судьба. А ещё живут в нашей памяти добрый молчаливый Филя, и нестеровский старик с голубыми глазами и посохом в сухонькой руке, и «закутанная в бабушкину шаль» девочка, и бабка, сунувшая хлеб в котомку поэта, живут и друзья его, и он сам.

«Сей образ прекрасного мира» держит поэта в непрерывной готовности к «живейшему принятию впечатлений».

Рубцов внимателен не только к проявлениям согласия, но схватывает контрасты, столкновение противоречий. Цикл «Восьмистиший» целиком построен на смысловых антитезах.

Разные стороны жизни волновали Рубцова, и, невольно дав название целому течению – «тихая лирика», сам он не отгораживался от трагических проблем современности.

Но чуткость его особенно проявляется в воссоздании переходных, полувнятных состояний, когда, как он сам сказал, «в каждом шорохе зреет самум». Тишина – лишь краткая передышка, почти невероятная, невозможная...

Максимализм желаний и претензий чужд человеческому и творческому сознанию Рубцова. Отношения с миром строятся на ненасилии: «Я буду скакать, *не нарушив* ночное дыханье и тайные сны неподвижных больших деревень». И музу не принуждал быть иной, чем была, – ведь поэзия рождается не усилием воли, пусть творческой, не диктатом разума, хотя разум и назван «светильником жизни», – она рождается самовластно, почти бесконтрольно:

*О чём писать?
 На то не наша воля!..*



Рубцов не поэтизирует будней. В живорождённом песнопенье возвращает он жизни ту красоту, что открыл в ней самой.

Наш век успел уже оценить обаяние естественности, органичности, в том числе и в творчестве. Рубцов – один из тех, очень немногих, кто напомнил об этом искренностью своей лирики, непритворным дыханием стиха, безоглядностью признаний.



Н. Рубцов. Один из последних снимков поэта

*Уединившись за оконцем,
Я с головой ушёл в труды!
В окно закатывалось солнце,
И влагой веяли пруды... –*

не отголосок ли это пушкинской мечты о побеге «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Поэт бежит не от насущных забот, а от «наружного шума», мешающего ему наилучшим образом делать своё дело.

«Чем более мы холодны, расчётливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки», – писал Пушкин, не умевший быть ни расчётливым, ни холодным. Однако творческое его самообладание поразительно.

Горячий, неосмотрительный Рубцов не всегда мог уберечь музу свою от горячки, смуты, нетворческой тревоги. Стихи его не лишены

недостатков. Намеренно не касаюсь их, и не потому даже, что – aut bene, aut nihil...

Путь поэта пройден, в нём ничего не изменить, и хочется отнестись к Рубцову так, как он относился к миру: с бережным вниманием и благодарностью. Будем признательны поэту за всё, чем он обогатил нашу поэзию, а значит, и жизнь нашего сердца и духа.

В начале статьи Николай Рубцов назван «органом... сокровенной думы всего общества». О чём же была эта дума?

Прежде всего об «уважении к минувшему», о том, что даль – двуединая. Любовь к России обняла огромные исторические пространства, и это её не рассеяло, а омолодило и упрочило.

Рубцов напомнил о хрупкости и неповторимости внутреннего мира человека, о необходимости беречь поэтические фантазии, «предрассудки души». Как и Пушкин, он видел в этом «цель нравственную».

«Взглянул на кустик – истину постиг...» – это отчасти шутка, шалость, эпатаж, но и живой призыв раскрыть сердце навстречу природе, её добру и дружбе. «Дума всего общества» была и об этом.

Устами Рубцова в известном смысле говорило само бытие в его сложном единстве: природа, народ, история. Рубцову удалось сохранить при этом естественность, непритязательность интонации и самоощущения, избежать риторики и велеречия. Первородство слова и жеста – безусловное достоинство всего, что выходило из-под его пера.

Любовь переполняла Рубцова, он был ею счастлив и мечтал, чтобы это счастье извели все. «Поверьте мне...» – была его мольба.

*За Вологду, землю родную,
Я снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,
И снова отправлюсь во тьму,
И вновь будет дождичек литься...
Пусть всё это длится и длится!*